Ольга Андреева

Ольга Андреева – журналист, писатель, кандидат философских наук, лауреат Национальной премии прессы «Искра».

Родилась в академгородке Пущино Московской области в 1967 году. Окончила Московский областной педагогический институт имени Н. Крупской в 1989 году, в 2000 году – Литературный институт имени М. Горького, в 2004-м защитила диссертацию на тему «Проблема времени в философии и эстетике русского символизма».

Работала в разных федеральных изданиях. Сотрудничает с журналом «Эксперт», ведет проект «Календарь» в интернет-издании «Москвич Mag». Публиковала свои произведения в журналах «Юность» и «Новая Россия». Около десяти лет была сотрудником журнала «Русский репортер».

В настоящее время работает в Центре имени Андрея Вознесенского, сотрудничает с журналом «Эксперт».

С 2004 года живет в Москве.

Оранжевый обруч

Город стоял на берегу реки, на самом высоком холме. Со всех сторон были дали. Сначала подробные – полевые, лесные, деревенские, под завязку набитые любопытнейшими мелочами вроде деловито трусящей собачки с высунутым языком, белой ромашковой лужицы на зеленом лугу, старушки в темном платочке с пустым ведром в руках, куда-то бредущей. Потом дали как-то незаметно размывались, синели, наполнялись воздухом, собачки потихоньку исчезали и позволялось разглядеть уже только общие очертания холмов, леопардовые пятна рощ и элегантный изгиб реки с тонкими контурами дальнего моста на самом горизонте.

Мост стоял уже на той грани зримого, где земля становилась небом и наоборот. За мостом начинался какой-то непознаваемый космос, мир вообще, без черт и свойств. За этот абстрактный космос Маня никакой ответственности не несла. Зато всё, что находилось чуть ближе, было Маниным огородом, который она, бредя с мамой в детский садик, ежеутренне оглядывала с хозяйской строгостью. Жизнь на холме делала Маню богачкой. Возможность озирать собственные угодья с возвышенной точки существенно расширяла зону Маниной земельной собственности – от той дальней точки внизу на востоке, где по утрам всходило солнце, и до точки на западе, где солнце заходило.

Жизнь в здешних краях была покойна. Время под Маниным приглядом никогда не ссорилось с пространством. Поэтому жизнь в городе и окрестностях шла строго по расписанию, что и положено всякой порядочной жизни, которая не растет как трава в огороде, а стремится к совершенству. Каждый квадратный метр Маниных угодий точно знал, когда и чем он должен зацвести весной, что созреет на нем в августе, в каком порядке лягут на него листья осе-

нью и какой сугроб появится зимой. Эта упрямая регулярность кому-то могла бы показаться скучной, но тот кто-то был дурак и не Маня. Ей же, напротив, всё это очень нравилось. «Постоянство – хорошая штука, – умственно рассуждала Маня, занимая голову делом во время длинных походов в садик и обратно, – потому что если так происходит каждый год, каждый месяц и каждый день, значит, это имеет какой-то смысл. Разве не так?» Смысл этот, конечно же, был большой и важный, и взрослые наверняка его знали и только того и ждали, когда же она сама тоже станет взрослой и до него додумается. И Маня очень старалась.

После того, как Маня начала ходить в школу и обрела некоторую самостоятельность, дело с пониманием смыслов пошло быстрее. Мир с возрастом становился всё подробнее и подробнее, обнадеживая в том смысле, что однажды круговой обзор с высоты холма и движение соков в малейших частях земли схлопнутся воедино и тогда точно станет все понятно. Классу ко второму она уже точно знала, что в самом конце марта, через неделю после того, как сойдет снег, а земля подсохнет и станет такой звонкой, что эхо шагов с дребезгом будет биться в карьерах улиц, обязательно зацветет мать-и-мачеха. Зацветет она не абы где, а именно там, где положено – на обочине окраинной дороги, там, где уже кончались дома и с холма откровенно и щедро распахивалась даль. С мать-и-мачехи все начиналось. С ее появлением из воздуха напрочь исчезал слегка подтухший за зиму запах мокрой варежки и появлялся аромат. Он был совсем ранний, неопределимый, хрупкий. Это был запах неба, которое вдруг отскакивало от земли, как отпущенный с руки гелиевый шарик, и поднималось высоко-высоко. Тогда сладкая холодная свежесть являлась в мире, а внутри Мани – яростная страсть жить.

Впрочем, это было только начало. За мартом наступал апрель, и действие перемещалось с голой солнечной обо-

чины в глушь одичалого парка, тремя заросшими уступами срывающегося к реке. Там, между корней старых-престарых, огромных-преогромных тополей, в первых числах апреля обязательно расцветал гусиный лук – мелкие желтые звездочки на тоненьких стебельках, похожие на ювелирный вариант больших садовых лилий.

Пространство, запутавшееся в пустых тополиных кронах, было еще по-зимнему огромным и холодно-прозрачным. Но что-то уже хрустело в земле, шуршало в палой, свалявшейся за зиму листве, и было понятно – всё уже началось. Проходило еще пару дней, и там же, на крутом склоне под разросшимся орешником, прошлогодние листья в одно прекрасное утро оказывались пронзены мелкими бледно-зелеными ростками хохлаток. На следующий день они уже распускали сиреневые кудряшки цветов и весь склон покрывался аккуратным желто-сиреневым ковриком. В этот момент уже можно было снять куртку и перейти на тонкий плащ.

Дальше всё развивалось стремительно. В орешнике на самой окраине откуда ни возьмись появлялась разноцветная медуница – розовая в бутонах и синяя, уже опыленная. На пятки медунице наступал лесной горошек в компании с желтыми барашками. Где-то в промежутке из зимнего небытия дружно восставали желтые лютики, и лес окончательно оживал.

Как раз в эти тревожные, хлопотливые дни мама обязательно приходила домой радостная и сообщала, что на выходных едем в лес за сморчками. И они ехали, и бродили по густым ореховым подлескам, и отряхивали желтую вездесущую пыль с кед и штанов, потому что к тому времени уже зацветала береза, ветки превращались в сплошной трепет сережек и лес окутывала нежная желто-зеленая поволока последнего весеннего сна. Тогда уже на опушке рощи вовсю цвели фиалки и совсем недолго оставалось

до того, как на берегу реки во влажных, невысоких еще луговых травах появятся незабудки и анемоны. Тут уже мир существенно менял цвет. Из серо-коричневого, умбристого, слегка плывущего в солнечной дрожи, он превращался в конкретно зеленый и густой. Пустотные объемы деревьев, сквозь которые зимний взгляд сразу падал на горизонт, медленно заполнялись зеленой плотью, и даль, привыкшая за зиму к томительной бескрайности, наконец брала себя в руки и хоть как-то уплотнялась.

В начале мая серьезно холодало – зацветала черемуха. Как всегда, именно на этот сияющий ледяным солнцем холод приходились все праздники – демонстрация на Первое мая и торжественное стояние у могилы павших на Девятое. Маня отчаянно мерзла в своих гольфиках и без куртки, но соглашалась немножко помучиться ради этого солнца и холодного, сладкого черемухового запаха, накатывавшего волнами из-за каждого угла, где тайно в диких кустовых зарослях сияли ее белые цветочные россыпи.

К третьему классу Маня точно знала, что, когда и где. Каждый день после школы, если выдавался случай пойти домой одной, без компании, она со строгой последовательностью обходила все свои полянки и опушки. Мать-и-мачеха, гусиный лук, хохлатка, медуница, зеленый горошек и дальше прямо в лето по березовым сережкам, сморчкам и дальше, и дальше. Маня жила как скромный вселенский садовод, полагавший искренне, что без ее личного участия вдруг что-то пойдет не так. Каждый год она радостно выдыхала к концу мая – всё так, всё прошло по плану. Молодцы, все зацвели!

Лето особенного внимания не требовало. Всё росло само и никого не спрашивало. Лютики, лесная вероника, потом колокольчики, ромашки. Маня радовалась, какие они все сильные, здоровенькие, крепкие, всё делают сами – не цветы, а родительская гордость. К июлю наконец появлялась

пыль, жара, возможность купаться и желтый, уже в ранней юности ободранный донник. По обочинам дорог торчали жесткие палки цикория, по задворкам вставала расхристанная, по-бабьи пестрая мальва. По пальцам текло свежесваренное варенье, жизнь превращалась в лень, и к концу июля Маня уже мечтательно вспоминала про зиму и санки с лыжами. Впрочем, к августу, когда жара спадала, она снова про них забывала. Начиналась эпоха вечерних туманов, подберезовиков и дикого горошка, медленно оплетающего остовы чертополохов и затягивающего луга дикой нечесаной шерстью травяной мудрости. Тогда Маня чувствовала, как взрослеет, и начинала тайно читать взрослые мамины книжки – про западноевропейское искусство, историю балета, немецких романтиков и толстый том переписки Блока с женой. Странные книжные истории, ученые слова, которые она не всегда понимала, вселяли в нее уверенность в огромности мира, где последовательные приключения трав были только первой, самой простой азбукой, введением в тайны гармонического космоса.

***

Маня не чувствовала одиночества только потому, что его не было. Квартирка, где жила Маня с мамой и бабушкой, была уютной и однокомнатной. На одном диванчике спала бабушка, на большой кровати – Маня с мамой. И был даже один совсем маленький диванчик – для гостей. Еще были два больших шкафа (один с книжками, другой с одежками), стол, пианино, много картин на стенах и уголок с Маниными игрушками. Всё было дружно и как положено, всё на своих местах и все при деле. Мама каждый день отчаянно и истерично ругалась с бабушкой, бабушка жаловалась на маму, мама на бабушку, и обе ругались на Маню. Маня жалела и бабушку, и маму, но особенно почему-то маму.

Бабушка как будто была покрепче, а мама – очень неуверенная в себе.

Изредка, раз в два-три месяца, приезжал папа, и тогда мама и бабушка переставали ругаться и начинали кормить, стирать, обихаживать, расспрашивать, смеяться. Отец был красивым круглолицым мужчиной, которого все обожали. У него, как давно заметила Маня, все блестело: кончик круглого носика, круглые щёчки, выпуклые круглые губки. Потом начала блестеть стремительно расширяющаяся круглая лысинка. Поблескивая всем этим богатством, отец важно рассказывал о своих успехах, ругал начальство и старых приятелей, которые подсидели его по части карьеры, и с каким-то рассеянным безразличием снимал с колен Маню, желавшую приткнуться поближе к такому большому и важному человеку.

Впрочем, смех длился ровно один вечер – первый после отцовского приезда. Уже на следующий день к вечеру становилось понятно, что отец съел и выпил всё, что успели приготовить мама с бабушкой, что он уже сходил погулять и подышать воздухом, навестил старых друзей, дождался, когда высохнет его стираное белье и рубашки, и больше ему здесь делать, в общем-то, нечего. Мама что-то говорила ему тем специальным голосом, которым в обычные дни уговаривала Маню не получать троек никогда. Отец переходил на торжествующий, победительный бас, обличал, обижался, жаловался на непонимание и нелюбовь. И всё заканчивалось скандалом.

Маня всегда удивлялась, почему это отец, такой большой, умный, до краев налитый разливанным морем всевозможных научных фактов и знаний, никак не мог жить с ними вместе и помогать маме делать то, что она делала каждый день – работать, ходить по магазинам за продуктами, готовить, болтать с Маней про школу, следить за порядком, устраивать лесные пикники с костром и сосиска-

ми. У отца почему-то никак не получалось разговаривать с ними просто и по-дружески. Всё время они выходили в его глазах виноватыми и дураками.

Маня долго приглядывалась, раскидывала умом и так и сяк, пока не сообразила, что отец живет в осаде, на военном положении. Так она себе и представляла: выжженное артобстрелами поле, курящиеся свежим дымком воронки и в середине всего этого военного безобразия – большая, изъязвленная свежими дырами крепость с зубчатыми башнями. А в крепости маленький, испуганный папа сидит. Он один, никто ему там не помогает, поэтому папе надо быстро-быстро перебегать от пулемета к пушке и обратно, чтобы у супостатов создавалось впечатление, что в крепости на самом деле не один папа, а несметное войско пламенных борцов. Супостаты тем не менее о чем-то догадывались и всё наступали и наступали, а папа всё отстреливался и отстреливался. Мане было очень жалко папу, но помочь ему она не могла совершенно никак и ничем, потому что одним из дураков-супостатов, населявших мир вокруг папы, была она сама. И мама, и бабушка, и дураки-друзья, и идиоты-начальники – все они были врагами и вызывали у папы естественную реакцию отстреливаться. У Мани даже складывалось такое впечатление, будто в глубине души отец уверен, что по-настоящему умный человек в мире есть один, а именно он. Все остальные дураки. Маня с этим мирилась, потому что папа был взрослый, и думала не столько про то, чтобы папу образумить, а о том, что, когда сама станет взрослой и построит свою крепость, она тут же откроет все ворота и будет каждый день устраивать у себя ярмарки.

– Если бы этот идиот Эйнштейн не нафантазировал эту свою совершенно недоказуемую теорию относительности, – с высокомерным безразличием говорил отец за ужином, – матерью наук была бы не физика, а химия.

– А что такое теория относительности? – спрашивала Маня, чувствуя, что присутствует при священном обряде рождения великой научной истины.

– Это такая теория, которая предполагает наличие во вселенной пространственно-временного континуума, то есть взаимосвязи, – снисходительно объяснял отец. – Эйнштейн понял, что по мере повышения скорости движения объекта время для этого объекта начинает замедляться. А это значит, что пространство и время связаны в одно целое. Понимаешь?

Маня не понимала, но переспрашивать боялась. Если бы спросила, на нее обрушились бы многочасовые отцовские объяснения и бабушка с мамой опять почувствовали себя не у дел. А Маня очень хотела, чтобы они себя так не чувствовали и разговор был бы общим, и всем им было хорошо. Война, крепость, артобстрел – это она, конечно, понимала, но должен же был кто-то носить папе еду и отирать раны. И почему, собственно, надо сразу стрелять? Может, лучше сначала с человеком поговорить, расспросить? Может, он и не враг вовсе? Сама Маня, по крайней мере, папе врагом точно не была. Ручалась она и за маму, и даже за бабушку, которая к папиному приезду как-то добрела, начинала стесняться и покрывала голову лучшим платком.

– Почему папа от нас уехал? – спрашивала Маня у мамы.

– Потому что он химик, – говорила мама, вздыхая, и взгляд ее при этом становился прозрачным и далеким, как будто она смотрела в какую-то пустую бездну, на дне которой ничего не было.

– А почему он не мог работать химиком здесь? – продолжала спрашивать Маня.

– Потому что здесь его не ценили, – отвечала мама, поднимая брови, и Маня тут же вспоминала сочные отцовские рассказы про дураков-начальников и коварных друзей.

– А что он делает там?

– Он хочет защитить диссертацию, – отвечала мама и снова вздыхала.

– То есть он уехал от нас, чтобы защитить диссертацию? – уточняла Маня.

– Ну да, – пожимала мама плечами.

– И защитил? – не унималась Маня.

– Нет еще.

Каждый год разговор повторялся. Маня старалась следить за ходом научных дел папы, но это почему-то было сложно. Как только речь заходила о диссертации, отец взвивался и начинал громить врагов науки и всех окружающих идиотов. Маня так и не узнала, какая тема интересовала отца и про что, собственно, эта диссертация должна была быть. Годы шли, а отец по-прежнему оставался научным сотрудником, меняя только места работы и дураков-начальников.

Маню удивляло еще одно обстоятельство. Мама всегда много читала и часто за ужином или по длинной дороге в лес на пикник рассказывала удивительные истории про старинных художников, писателей, артистов и разных других хороших людей. Мама часто возила Маню на выставки и в театр, слушала дома пластинки Баха и Моцарта. Но Мане казалось, что про эту мамину жизнь знают только она и бабушка. Никогда в присутствии посторонних мама не рассказывала ничего подобного, а только слушала, как другие рассказывают какие-то странные, не очень интересные истории про начальников, директоров и прочих совершенно посторонних людей, которых не было за общим столом.

Так как отец навсегда и бесповоротно принадлежал к числу посторонних, мама и с ним никогда не вспоминала про своих художников и поэтов. А потому всегда получалось так, что мама больше молчала и преданно слушала. В результате, как чувствовала Маня, мама производила впечатление серой, безвидной мышки, безмолвного кол-

лектива, использующегося только для заполнения мест за столом. Если папа был окружен своей пуленепробиваемой крепостью, то мама как будто была совсем не защищена, ничем не прикрыта, чувствовала, как на нее со всех сторон дует какой-то ледяной, смертельный ветер, и стремилась сжаться в самый маленький комочек, чтобы ветер пронесся мимо и не убил.

Маня никак не понимала, почему мама сама не может построить себе крепость и проводить ярмарки. Зато Маня отлично понимала, почему сама она никогда не рассказывала дворовым подружкам про мать-и-мачеху, гусиный лук и переписку Блока с женой – им это было совершенно не интересно. Взрослые же люди должны были жить куда более сложной умственной жизнью, полагала Маня, и этот императив нависал над ее головой как готические березовые шпили местных рощ. Потому-то она так страстно вслушивалась в разговоры взрослых, так старательно искала в них высокий и тайный смысл, который, однажды открывшись ей самой, сделает ее тоже взрослой, то есть всесильной, и тогда жизнь ее наконец начнется.

Вслушиваться в разговоры взрослых Мане доводилось довольно часто – все жили поблизости и все ходили друг к другу в гости. Чаще всего ходили к шумным, большим и гостеприимным Романенкам, жившим и вовсе в соседнем доме. Романенко-старший, или дядя Толя, работал начальником маминого отдела и, как говорила про него мама, был «хороший мужик, не сволочь». Тетя Катя, то есть жена Романенко-старшего, была и вовсе «доброй бабой», и мама часто посиживала с ней на кухне, о чем-то хихикая и шепчась. Сама Маня находила вполне приличным и достойным изредка в гостях общаться с Романенко-младшим, а именно толстым Гошей.

– А вы слыхали, как Муратова-то подвинули? – со звонким задором начинал застолье невысокий, худенький брю-

нетик с аккуратной бородкой и блеклыми невыразительными глазками, разливая по рюмочкам что-то дефицитное и коричневое.

Брюнетик просто-таки подпрыгивал от радости. Как понимала Маня, радость эта происходила вовсе не оттого, что он разливал коричневое, а оттого, что он собирался сейчас рассказать про неизвестного Мане Муратова. Наблюдая за лицами присутствующих, Маня понимала, что им самим Муратов тоже известен не очень хорошо. Тем не менее радость брюнетика была простой и чистой. Она истекала из самого факта того, что он сидит за большим столом при большом скоплении людей и вот он, такой маленький и безвидный, как большой, начинает разговор на тему, которую все сейчас начнут обсуждать.

– Муратова-то в ученый совет забаллотировали. Слыхали? Нет, вы слыхали? – на весь стол верещал брюнетик.

– За что ж его так, бедного? – звеня высоким голосом вечной хохотушки, спрашивала тетя Катя.

– А за то! Не надо нехорошим людям дорогу переходить! – победно отвечал брюнетик и поднимал свою рюмочку. – Давайте за это и выпьем!

Все выпивали, а Маня смотрела на брюнетика, у которого в бороде белели седые пряди, и думала о том, почему ему не стыдно – он же взрослый человек.

– Это Шульц, это Шульц, говорю вам! – вступал с другого конца долговязый человечек в очочках со смешным лицом дрессированной обезьянки – низко надвинутый лобик, вздернутый носик, пухлые губы, выступающий вперед мелкий подбородок.

Долговязый давно начал лысеть, но этот процесс на его голове развивался как-то непоследовательно. Отхлынув далеко ото лба, волоски задержались на макушке и с боков, где и топорщились какими-то неопределенными кустами. Мане долговязый не нравился и даже пугал ее, но у него

был громкий, басовитый голос, иногда переходивший в хриплый фальцет, и он всегда бесстрашно пускался в самые отчаянные застольные споры, как будто нос у него был не курносый и вздернутый, а классический греческий, и повадки не обезьяньи, а даже как будто патрицианские. Если бы такой нос был у самой Мани, рассуждала она, она бы, пожалуй, ушла в монастырь.

– Шульца Муратов в прошлом году на ученом совете прокатил, помните? – взрыкивая, как собачка в ожидании мясной похлебки, брызжа слюной, говорил обезьяноподобный коллега мамы. – Он тогда Таньке сказал… Таньку знаете? Нет? Ну как же? Рыжая баба такая с бюстом. Как ее фамилия-то? Нет, не Финогенова… Финогенова в физтеории работает. Остапчук, да, Остапчук! Он ей тогда сам сказал, так, вроде между делом, как будто к слову пришлось, знаете, как это он умеет, так по-умному вроде всё, интеллигентно. Сказал, что Муратова пора снимать, что институт задыхается под его давлением. Танька тогда обалдела совершенно. Это про Муратова-то, да? Не… вообще бред, конечно.

– Ну что вы – Шульц, Шульц? Муратов сам еще тот тип, – встревала пышная тетя Катя. – Он тогда своего аспиранта сожрал, который ему данные для докторской сделал. Помните эту историю? Ну как же? Лет двенадцать назад было.

Тут тетя Катя мощным торсом оборачивалась к маме, ища поддержки.

– Галь, ну ты чего, не помнишь, что ли? Мы тогда как раз спектрофотометр сдавали. Тогда весь институт говорил: Муратов аспиранта сожрал и уволил без характеристики. Парень плакал в коридоре, а к нему все боялись подойти – мало ли чего Муратову покажется. Он мужик-то крутой.

– Было дело, – пугливо оглядываясь, замечала мама.

– Да ладно, – взвизгивал через стол обезьяноподобный. – Поди, сам аспирант был виноват. Муратов его научным руководителем был. Пока ты аспирант, сиди и не выпендривайся. Ну и что, что он Муратову статью сделал? Тут никакого криминала нет. Я слышал эту историю, но не верю. Сплетни, говорю вам, сплетни.

– Да какие сплетни? – возмущалась тетя Катя. – Про Муратова давно говорят, что он имена сотрудников в соавторы не вставляет. Уж сколько раз слышала. Шульц сам не сахарный, но у Муратова рыльце в пушку – факт. И не спорь.

Обычно где-то в середине таких разговоров к Мане с другого конца стола начинал потихоньку пробираться Гоша. Они с Маней были погодки, и все семейные застолья для обоих всегда заканчивались одинаково. Гоша, усердно насыщался всем, что предлагал хлебосольный праздничный стол, после чего, стараясь не привлекать к себе внимания и потише греметь стульями, двигался в сторону Мани.

– Пошли, – говорил Гоша, серьезно и строго глядя в сторону, – мне отец новую штуку привез. Покажу.

Гошин отец, дядя Толя, был огромный и какой-то жизнерадостно выпирающий. Всё у него отовсюду выпирало туго и крепко: пузо из брюк, плечи из рубашки, голова из шеи, нос из лица. Во всех этих выпираниях было столько радостной, щедро пышащей во все стороны жизни, что все его обожали, и Маня тоже. Дядя Толя принадлежал к числу насельников тех горных вершин науки, откуда рукой подать было до заграницы. Нельзя сказать, что ездил он в нее часто, но случалось. Оттуда он привозил Гоше невероятные вещи, вроде электрической модели Солнечной системы, в которой вокруг Солнца вращались планеты, а вокруг Земли – даже маленькая Луна. Вращались планеты, правда, недолго. Гоша, имевший склонность ко всему техническому, быстро разломал Солнечную систему, и, будучи у него в гостях, Маня то и дело натыкалась босыми

ногами то на мелкого Меркурия, то на крупную и скользкую Венеру. Остальные планеты потерялись под диваном.

Мане, чья мама была простым инженером, казалось, что заграница так же невозможна, как рай. У Гоши на полу среди планет валялись кучи открыток с изображением красных автобусов на лондонских улицах, каких-то парижских цветочных магазинов, Эйфелевой башни и соборов, похожих то на свадебный торт, то на подушку-игольницу, плотно утыканную шпилями. Разглядывая открытки, Маня испытывала сладостное чувство восторга, но сладость была подпорчена сильным подозрением – это всё неправда, просто мультик, а не жизнь.

Тем не менее заграничные игрушки Гоши имели определенный вес в глазах Мани. Особенно ей нравилась такая штука, где надо было управлять движением машинки посредством большого пластмассового руля, приделанного к коробке, где за стеклом бежала дорога и кучка крошечных автомобильчиков. Один из автомобильчиков был управляемым, остальные бежали сами по себе. Маня буквально вцеплялась в заветный руль и вдохновенно маневрировала своей голубенькой машинкой, которая лихо обходила на поворотах тяжелые грузовики и юлила между прочей такой же мелочью.

– Ты, когда вырастешь, классным водителем будешь, – завистливо говорил Гоша, который сваливался в кювет или врезался в кого-нибудь уже на второй минуте гонок.

Гоша был хороший. Семья у него была счастливая. Большие, веселые родители всегда хохотали, болтали и перебрасывались шуточками. Гошу, правда, в отличие от Мани никто на выставки не возил. Толстые мама с папой предпочитали шашлыки и домашние праздники. Если бы Гоша узнал о том, что десятилетняя Маня уверенно предпочитает Клода Моне Эдуарду Мане, он бы очень удивился – ни тот, ни другой ему были решительно неизвестны. По-

этому с Гошей было классно. Маня выбиралась из-за стола в разгар рассуждений про очередные козни Шульца и Муратова, и они удалялись в Гошину комнату пинать ногами планеты и крутить руль.

Гоша, руль, заграница и, главное, взрослые разговоры о работе были неотъемлемой частью семейных торжеств, поводы для которых находились как-то сами собой так же естественно и регулярно, как цветение мать-и-мачехи. К третьему классу Маня освоила весь словарь околонаучных застольных дебатов. Она отлично знала слова «форез», «синапс», «спектрофотометр», «кальциевый обмен» и даже сложное слово «редупликация ДНК». Все эти редупликации и форезы входили в Манину жизнь с тем простодушием, с какой в жизнь любого ребенка входит утренний звон посуды на кухне. Это была весьма небольшая часть огромной территории окружающего мира, к которой любознательная Маня странным образом никогда не чувствовала никакого интереса. Жизнь идет, посуда звенит, ДНК редуплицирует – отлично. То были просто звуки, птичьи голоса, музыка сфер, не имеющая никакого отношения к реальности мальвы и донника. Если ДНК успешно редуплицировала в маминой лаборатории, где были одни взрослые, то мальва и донник, а вкупе с ними и репейник, и татарник, и мудрый дикий горошек, были у Мани всегда под рукой и нуждались в ее добродетельном пригляде. Синапса и спектрофотометра Мане было совершенно не жалко, а вот цветущий копытень – ужасно, невыносимо, до слез жалко.

Про копытень Маня узнала в четвертом классе. Открытие произошло совершенно случайно, как всегда бывает с открытиями. Если в конце апреля найти в лесу укромную полянку, где палые прошлогодние листья еще образовывали плотную и дымно пахнущую корку, то, скорее всего, над коркой прошлогодней листвы местами будут стелиться жесткие и кожистые густо-зеленые листья, как будто при-

сыпанные сверху бурым пушком. Это и был, как узнала Маня из толстого Определителя растений Московской области, копытень. Бывал он всегда как будто несвежий, весь какой-то запыленный и неопрятный. Но если не побрезговать и тихонечко приподнять один из кожистых листов, под ним обнаруживался маленький, размером с наперсток цветочек. Одиноким темно-бордовым колокольчиком он свешивался с короткой цветоножки, весь покрытый нежным, младенческим пухом. Внутри цветочка застенчиво мерцал желтый наивный пестик. Этот секретный колокольчик, таящийся в буром прошлогоднем лиственном хламе, так поразил Маню, что она окончательно решила перестать валять дурака и начать учиться на ботаника. В маминых книжных залежах, кстати, отыскался толстый том под названием «Лекарственные растения». Старательное его изучение обогатило Маню знанием о том, что копытень принадлежит к роду копытень, широко распространен в лесной и лесостепной полосе Европейской части России и способствует излечению от алкоголизма. Тут Маня обиделась. Она бы предпочла, чтобы ее тайный аленький цветочек излечивал что-нибудь более благородное, вроде безответной любви или, как минимум, гастрита.

***

К седьмому классу из вселенских садоводов Маня незаметно перешла в должность промежуточную, вроде погонщика облаков или сторожа древесных душ. В этом совершенно напрасном занятии для Мани было так много важного и требовало стольких душевных усилий, что вызывало в ней гордое чувство настоящей взрослости. Она стала совершать прогулки. По вечерам, особенно зимним, когда тьма рано опускалась на город и улицы пустели, а окрестные поля лишались и тех редких случайных путни-

ков, которых туда изредка заносило случайное дело или незнание местности, Маня отправлялась в путь. Она готовилась к своим прогулкам заранее. Старательно делала уроки, не шумела, смотрела глазами мудрости и не нарушала того внутреннего чувства правильности, которое переняла у старательных трав и цветов, всегда соблюдающих режим и никогда не позволяющих себе антибожественного своеволия.

К этому времени Маня уже прочитала всего Блока, Фета, Лермонтова и поэта Гельдерлина, томик которого стоял в мамином книжном шкафу. Фет со своими трелями и зайцами в полях был скучноват, лермонтовские истерики про падающие на плахи головы и беглых дикарей не казались Мане убедительными, Гельдерлин пугал своей хрупкой душевной организацией, а вот Блок оказался в самый раз. Ах, как он покачивался в верхушках тополей, как несся над замерзшей рекой, стелился в далях и медленно проворачивался на небесном языке, сопровождая каждый поворот строки колесным скрипом каких-то вселенских механизмов, которыми, как полагала Маня, был оснащен весь невидимый ей большой космос жизни.

В соседнем доме окна жолты,
По вечерам, по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам…

Маня полюбила ходить по вечерам по заснеженным, сугробным окраинам, откуда был виден дальний лес на том берегу реки, поля, едва мерцающий соседний городок на горизонте и верхушки деревьев, росших у самой воды, на берегу. Она вслушивалась в мерзлый перестук веток и читала про себя Блока, разгадывая не смысл, но звук этого качающегося голоса. Ночная зимняя даль, открывающаяся перед ней во все стороны, куда ни брось взгляд, была исполнена

едва заметного движения нездешней и глубоко осмысленной жизни, сюжет и смысл которой мог разгадать только ее участник. Этого Маня и добивалась своими аскетическими правилами и запретами на легкомыслие – стать соучастницей этой ночи, этой тайной белизны.

Когда зимними вечерами она шла по пустым дорогам окраин и следила за тем, как надвигаются на нее голые тополиные остовы, как соотносятся они с мутно-синей далью полей, измятых овражками и холмами, она понимала, что всё это строгое безмолвие веток и зимней сумеречной мути гудит изнутри высоковольтным напряжением смысла. Зимняя ночь лежала перед ней, укрытая бледно-синим снежным покрывалом. Тьмы, той самой, о которую разбивается взгляд, не существовало. Ночь была исполнена светом. Этот свет подхватывал взгляд и медленно, со скоростью зимних пушкинских троек, нес его над бледными немыми полями. Маня не шла, а как будто отправлялась в тайный, неторопливый полет по старым воздушным проселкам, уставленным верстовыми столбами вечности. Где-то там, по этим зимним воздушным путям, мерной рысью и колокольчиками звенели тройки Пушкина и произрастала чета лермонтовских берез, что убедительно доказывало Мане наличие чего-то большего, чем просто жизнь.

Редко, очень редко на той стороне реки, на широком и пустом поле, упиравшемся в совсем уже дальнюю стену леса, сквозь белесую тьму медленно двигался огонек одинокой машины. Маня не могла различить ни засыпанной снегом дороги, ни самой машины. Ей был внятен только этот одинокий огонек, медленно и упорно рассекающий пространство бескрайней и пустой, лишенной человеческого присутствия и оттого погруженной в свою собственную жизнь природы на том берегу. Куда стремился этот огонек? Что вырвало его из уюта дома, из круга света вечерней лампы,

семейного ужина и шелеста книжных страниц перед сном? Этот вопрос повисал над бездной реки и бескрайностью ночных полей великой тайной.

Всё это пустое, переливающееся загадочной красотой пространство зимних ночей как будто распахивало шкатулку маленькой Маниной жизни. Как будто кто-то большой и мудрый брал маленькую Маню на руки и осторожно нес невысоко над огромным миром, как раз так, чтобы Маня могла разобрать все знаки, все буквы этого божественного алфавита. Березы рощ мерными, плавными уступами в глухом безмолвии спускались к реке, склон, накатанный дневными детскими санками, изгибался запаздывающей линией и медленно, как дорогая тяжелая ткань, струился вниз к подножию холма, на выдохе встречаясь с речными ивами. За извивом склона начинался извив реки, столь же прихотливый и плавный, река переходила в линию горизонта, дальний лес, поля на том берегу и наконец вступала в небесные владения, где мутно и величественно вставали колеблющиеся завесы облаков.

Мамины коллеги, все научные сотрудники, библиотекари, учащиеся школ и институтов, стажеры и аспиранты, продавцы и парикмахеры спали в своих маленьких далеких комнатках там, за спиной, в ночном городке. Маня была одна на вершине холма, совершенно одна среди разлива полевых морей, деревьев, рощ, ледяной глади реки и неба. И тогда Маня понимала, что и ее нет здесь. Она переставала быть сама и становилась всего лишь дыханием общей вселенской красоты, легким взглядом, шелестом, изгибом. Всё в Мане затихало и настораживалось тем острым, мудрым вниманием, с каким могли слушать земную дрожь древние старцы в ожидании варваров или стоокие Аргусы, стерегущие чужие тайны. И Маня чувствовала, как в этой внимательной тишине вся ее природа, все ее жизненные родники и внутренние воды меняют свой состав, сливаясь

с общей сутью грозного, величественного мира, который можно понять, только став им.

***

Маня начала заниматься гимнастикой давно, еще в третьем классе. Трижды в неделю по вечерам она отправлялась в родную школу, закинув за плечо скудный мешочек с гимнастическими тапочками и строгим черным купальником. Ей нравилось чувствовать, как пружинят мышцы в мерно шагающих ногах и тело ее спокойно и сильно ветвится стройными руками и прочими конечностями. С шестого класса компанию ей стал составлять толстый Гоша, которого родители путем долгих и нудных уговоров всё-таки отправили на плавание. Плавать Гоша решительно не хотел, но родительское занудство и Манино общество отчасти примиряли его ненависть к спорту. Шли не торопясь, спрямляя путь через поле, одно из тех еще совсем диких, неосвоенных полей, которые делали крошечный город N похожим на большой, только пока совсем пустой.

В тот день на Манином плече кроме мешочка с купальником болтался еще один предмет. То был оранжевый пластмассовый обруч, за которым мама специально ездила в Москву, потому что обручи были большим дефицитом и покупались в специальных магазинах после отстаивания специальных очередей, сопровождающихся специальными скандалами и прочими специальными действиями. Все эти специальные хлопоты делали обруч не рядовым предметом в семейном обиходе, а вполне себе священным, оплаченным не столько деньгами, сколько непосредственно витальной силой маминой жизни. Святость обруча легко бросала свою священную тень и на тот повседневный обиход скромной начинающей гимнастки, в котором тонкая оранжевая окружность обруча была остро необходима.

Обруч диктовал особые правила жизни – точность, строгость, стройность, легкость. Мане это нравилось, а технический Гоша поглядывал в его сторону с большой опаской, дальновидно предугадывая в нем угрозу для собственного мягкого брюшка. Так они и шли втроем: Маня, Гоша, обруч, – пиная ногами снежные катышки, проламывая мягкий наст по обочинам, болтая о разном или молча вглядываясь в красные озера закатов на западе. В тот день декабрьский закат был особенно кровав. Пока чистое, строгое небо медленно наливалось синью ночи, запад истекал артериальными шелками, венозно пенился, брызжа на искрящийся снег полей розовым грозовым предвестием.

– Красиво как! – сказала Маня.

– Это особый оптический эффект, – строго сообщил Гоша. – Папа говорил. Я не очень понял, но там что-то с толщиной воздушного столба связано.

– Здорово! – с энтузиазмом заметила Маня, и они принялись рассуждать про воздушные столбы и что бы это могло значить.

За разговором миновали маленький кусочек обихоженного парка с большой каменной глыбой, поставленной в память о погибших. Потом покрутились между молоденькими сосенками, которые они сами в компании с прочими городскими школьниками каждый год досаживали сюда на субботниках. Потом перешли через дорогу, последнюю городскую проезжую дорогу с настоящим асфальтом, которая отделяла окраину от центра, и пошли по большому грустному пустырю. Тропинка с трудом пробивалась через глубокие снежные заносы. Всё поле, давно почувствовавшее близость человеческого хозяйства, густо поросло высокой дурной лебедой, пустырником и чем-то еще невнятно торчащим из-под снега. Эта часть путешествия всегда была самой печальной. Было что-то невыносимое в этих беспомощных былках, покрытых бессмысленной прошло-

годней сушью вместо листвы. Травы не умрут, как знала Маня, но будущей весной росток пробьется из корней, снизу, из самого глубокого снежного нутра. А эти ободранные осенью и морозом палки уже умерли, их травяная жизнь закончилась, и было грустно смотреть, как они стоят вокруг густой чащей в слепом упорстве мертвых, которым уже нечего терять.

Тропинка не торопясь выводила их к ограде детского садика и городскому тротуару, уверенно текущему вдоль детсадовского заборчика. Здесь уже было хорошо натоптано, весело, людно, уже горели ранние фонари, и печаль мертвых пустырников быстро забывалась. От садика до школы было рукой подать. Когда они толкнули тяжелые школьные двери, закат превратился в слабое сияние над рекой, а небо поднялось высоко и леденящей синью неподвижно смотрело в заснеженные глаза земли. Там, на западе, что-то готовилось. Было видно, как в последних отблесках света по горизонту на брюхе ползают хищные ленты туч, копятся какие-то темные груды облаков.

Гулкая школьная раздевалка проглотила Маню с Гошей, как деловитый Левиафан, чья вместительная глотка была аккуратно выложена колотыми мраморными плитами. Тусклый мрамор позволял голосам биться об него со звонкостью лесного эха, но без должной протяжности. Маня даже крикнула контрольное «А-А-А!», чтобы проверить качество эха. Звук получился слегка надтреснутый, громкий и короткий. Гоша строго хихикнул. Тут они расходились в разные стороны. Маня поднималась на второй этаж, в гимнастический зал, а Гоша шел в подвал, в бассейн.

Два часа Маня гнулась и прыгала, снова гнулась и опять прыгала. Толпа двенадцатилетних гимнасток шмыгала насморочными носиками и подкашливала – на улице всё-таки была зима. Никто пока толком не умел ходить по бревну, и все страшно боялись высоты. Пытались отыграться

на четко отработанных колесах и мостиках, но беспощадная Надежда Константиновна всю первую часть занятия гоняла их по страшному бревну. Маня изо всех сил старалась не бояться, тянула носочки и прямила спину. Тело тоже старалось, но результат Маню не радовал. Огромные зеркала демонстрировали худенькую девочку с косичками, идущую по бревну так, как будто под ним пылали все адские сковородки сразу. Когда после бревна перешли к обручу, сил оставалось мало, и Маня совершенно растерялась. Обруч надо было кидать, крутить, догонять, пролезать в него на бегу, а этот оранжевый изверг всё заваливался на бок или нагло укатывался в сторону. В общем, через два часа Маня вышла из зала, прильнувши носом к непокорному оранжевому пластику и мужественно обещая себе тренироваться несмотря ни на что, потому что это всё равно здорово. Тело было таким невесомым, что казалось, еще немножко – и она взлетит. Маня, всерьез не рассчитывая на взлет, смиренно укуталась в худую шубку из тертого кролика, замоталась шарфом и, прихватывая обруч толстыми варежками, поплелась вниз, где ждал Гоша.

Как всегда, они занимались немножко больше положенного. Гоша, тоже замотанный в шарф, прогуливался по мраморной плитке и потел. Девочки-гимнастки, в толпе которых сбежала с лестницы и Маня, являли собой невиданное климатическое противоречие: шубки, шарфики, сапожки, валенки и разноцветные обручи, болтающиеся на детских плечиках, как попугаи на плечах полярников. Гоша ухмыльнулся и вытащил из Маниных рук мешочек с гимнастической переодевкой. На обруч воспитанный Гоша покушаться боялся: дорогая вещь, вдруг сломает.

Когда они открыли тяжелую школьную дверь, стало понятно, к чему готовился весь вечер западный небесный фронт. То была настоящая буря с наступающими армиями плотных снежных призраков, с артиллерийским сопро-

вождением вихревых ударов и авиационным завыванием ветра. Снег валил тяжелыми, густыми волнами, как будто мимо рядами скакали прозрачные, белые всадники. Ветер был такой плотный, что казалось, на него можно было лечь плашмя, оторвать ноги от земли и не упасть. Маня с Гошей тут же подняли воротники и глубже зарылись в шарфы, но снег вкупе с ветром забивался в любые складки и в конце концов всё равно настигал теплую кожу, неприятно подтаивая где-то внутри шапок и шарфов. Дорожка, ведущая к школе, всегда твердая и вытоптанная до самого льда, теперь была засыпана снегом едва ли не по колено. Идти было тяжело, и Маня для надежности вцепилась Гоше в руку, отчего тот всё повторял важно:

– Разве это ветер? Вот на Камчатке бывает ветер. Там снег не может удержаться на земле и поэтому вся Камчатка голая. А в Америке бывают такие тайфуны, которые вообще могут город снести.

Маня, однако, совершенно не боялась. Наоборот, ее вдруг охватило шальное чувство вроде того классического упоения, которое охватывало страшной бездны на краю. Она пробиралась в складках ветра и снега, и чем дальше, тем больше начинала чувствовать себя то ли Гердой, ищущей Кая, то ли пятнадцатилетним капитаном, попавшим вместо Аргентины на Северный полюс. Буря раскручивала колеса воображения как ветряную мельницу.

– А ты видела, фильм такой был… – Гоша, пыхтя, старался и закутаться поглубже в шарф, и раскутаться из него, чтобы иметь возможность говорить. И то и другое вместе не получалось. Поэтому Гоша быстро высовывал нос из-под шарфа, говорил небольшую порцию того, что хотел сказать, а потом натягивал шарф до самых глаз и исчезал. – Я только название забыл. Ну, там это… про Северный полюс, кажется, было. Или про Южный. Они там оставались

на зимовку, кажется. И у них что-то там случилось такое, я только забыл, что…

Тут Гоша надолго замолчал, потому что совсем задохнулся от снежного кома, влетевшего прямо в рот.

– Цветной? Черно-белый? – крикнула Маня сквозь ветер.

– Черно-белый. Кажется, – гудел в ответ Гоша, – там у них что-то такое случилось во время зимовки, надо было срочно куда-то дойти через снежный ураган, кого-то спасти. И вот они там полфильма шли. Прямо как мы сейчас.

– Дошли?

– Дошли, – басовито прогудел Гоша и, подумав, добавил, – только не все.

– Давай мы тоже как будто куда-то идем через снежный ураган, – предложила Маня.

– Ну, мы и так идем. Прямо через снежный ураган, – резонно заметил Гоша.

– Ну, мы по городу идем, фонари горят, люди ходят. Давай как будто мы по полюсу идем и за нами гонятся, например, белые медведи.

Они уже вышли на улицу, по которой шли два часа назад. Яркие фонари, светившие неестественным синюшным светом, вырезали из тьмы большие ломти пространства. Было видно, как в эти световые коридоры влетают и стремительно выскакивают оттуда густые снежные охапки, которые кто-то бросал и бросал из тьмы огромными пригоршнями. Утоптанная некогда дорожка давно исчезла как не было. Ноги вязли в снегу почти по колено, но всё равно было невообразимо здорово идти вот так, ложась всем телом на ветер и чувствуя, как горло перехватывает от ветряных струй.

– Смотря, по какому полюсу идем! – перекрикивая снежный вой, сказал Гоша. – На Южном нет белых медведей!

– Ну давай по Северному! Ты падаешь в ледяную расщелину и ломаешь ногу, а я тебя спасаю! – выкрикивала в ответ Маня.

– Лучше давай ты сломаешь ногу! Ты меня не утащишь, я тяжелый!

– Давай по очереди будем ломать ноги, – хохотала Маня. Ей всё время заметало глаза, снег таял на теплой коже и щеки были мокрыми, как от слез. – Я тоже хочу кого-нибудь спасать! – кричала она в упоении.

Обруч сверкал под синюшными лучами фонарей безумным оранжевым блеском и трепетно, по-птичьи бился о Манины колени такими легкими касаниями, что она почти не чувствовала их сквозь толстые зимние штаны.

– Давай лучше медведи за нами будут гнаться или дикие эскимосы.

– Точно! – заорала Маня и тут же подавилась ветром.

– Тогда бежим! – сурово потребовал Гоша и сам первый рванул в сугроб.

Бежал Гоша по-медвежьи, переваливаясь из стороны в сторону, и очень медленно. Маня была легче и не так глубоко проваливалась в снег, но и ее бег не был стремительным.

– Давай мы будем отстреливаться! Они же на оленях. Так они нас нагонят, – пыхтела Маня, меся сапогами снежную муку.

– Тогда падаем, – сообщил Гоша и тут же мешком повалился в сугроб.

Маня тоже свалилась и, выхватив невидимую винтовку, заорала:

– Ого-о-онь! По эскимосам пли! Бдыжь! Бдыжь! Бдыжь!

– А у меня как будто автомат, – сообразил технически подкованный Гоша. – Ды-ды-ды-ды-ды…

– Всё, патроны кончились! – орала Маня. – Бежим дальше, а то замерзнем!

– Не, – ворчал Гоша, выбираясь из сугроба, – я больше не могу бежать. Давай как будто мы их всех перебили и дальше можно не так быстро.

– Тогда давай тебя немножко ранили и я тебя спасаю.

– Ну давай, – согласился Гоша и отдал в Манино распоряжение собственную руку, которую та старательно пристроила к себе на плечо.

Идти так было неудобно, но Маня опять-таки старалась изо всех сил. Гоша тоже старался. Пока пристраивали толстые зимние руки к толстым зимним же плечам, искали у Гоши талию, чтобы покрепче обхватить, ругались и героически боролись со стихией, впереди замаячило то роковое место, где ограда детского садика заканчивалась. Здесь дорога раздваивалась, и надо было сделать выбор. Влево, в глухую темноту пустыря, в безвидный вой ветра уходила тропа, по которой они шли в школу два часа назад. Там, слева, не было ни людей, ни домов, ни света фонарей, только упрямые былки прошлогодних пустырников торчали из-под снежных мехов и напоминали о смерти. Прямо перед ними белым полотном стелилась ярко освещенная дорога, по которой шли редкие прохожие. Здесь были и свет, и люди, и дома, и машины, и вообще жизнь.

Им предстояло сделать выбор между светом и тьмой, а заодно решить классическую геометрическую задачку про Пифагоровы штаны. Тропинка, представлявшая собой гипотенузу прямоугольного треугольника, отвечала за тьму и ужас. Катетами того же треугольника являлись две большие улицы, отвечавшие за свет и жизнь. Гипотенуза, взятая в квадрат, как известно, равнялась сумме квадратов катетов, а значит, была куда короче самих катетов. Бездушная математическая логика требовала свернуть налево и пойти по гипотенузе. Но другая логика шептала в Манины уши строгим, басовитым голосом знающего человека: «Не будь идиоткой, иди прямо!» На стороне гипотену-

зы были риск, тьма и сомнительная выгода в расстоянии. На стороне катетов были свет, жизнь и здравый смысл. Всё это проносилось в Маниной голове со скоростью встречного снега. Маня чувствовала, что те же мысли проносятся и в Гошиной голове, и вместе они образовывали какую-то дыру в логике, где неустойчивое равновесие вот-вот должно было нарушиться. Маня вдруг со всей очевидностью поняла, что вместе с Гошей стоит на той грани решительного и тончайшего выбора, который через пару секунд должен определить последующее движение планет, мировых светил, решить судьбу вселенной и уж в последнюю очередь их собственную с Гошей судьбу, что было, в сущности, уже не так важно. Внутри у Мани всё замерло, как замирает брошенный мяч, докатившийся до вершины холма, когда вместе с ним замирает весь мир и ждет, вернется ли мяч обратно или всё же осилит последний миллиметр и перекатится на другую сторону.

Голос Гоши вынырнул из свистящей ветреной пустоты.

– А ты что с обручем на гимнастике делаешь?

Потом Маня долго думала, почему Гоша задал именно этот вопрос, но тогда, в миг всеобщего рокового зависания, ее занимало совсем другое. В высокохудожественном рапиде она увидела, как маленький мячик судьбы невыносимо медленно, преодолевая сопротивление разума, земного притяжения, физики и опыта всех поколений человечества, медленно-медленно смял последнюю травинку и перекатился на тот решающий миллиметр, за которым начинались иное притяжение и вообще иной мир. Дружно шагая заснеженными, отяжелевшими сапогами, Маня с Гошей молча повернули влево и тут же провалились по колено в сугроб.

– Что делаем? – переспросила Маня, выбираясь из снега. – Ну, простое упражнение, в общем-то. Бросок вперед с возвратом.

– Это как? – пропыхтел Гоша.

– Это когда ты бросаешь обруч, но так специально его закручиваешь, что он немножко катится вперед, а потом возвращается обратно.

– Покажи, а? – сказал Гоша с той небрежностью великих полководцев, которые, не обращая внимания на стратегии и расчет, бросают многотысячные армии в безнадежные битвы и выигрывают их.

– Сейчас, – сказала Маня просто, стараясь не разрушить величие момента.

Они уже отошли от дороги. Свет фонарей еще дотягивался до них, но последняя грань освещенного мира вот-вот должна была оказаться преодоленной и тогда вокруг них сомкнется визжащая, воющая, безвидная и безлюдная тьма, где только плотный снег и ветер будут сообщать им, что они еще не в космосе, не в абсолютном холоде вакуума. Они вошли в дыру. Какая-то тяжкая железная дверь, надежно защищающая их мир от соблазнов и ужасов другой вселенной, страшно скрипнула под ветром, открылась на мгновение, впустила их внутрь и закрылась за ними. Теперь они были не здесь, а где-то. Так же выл ветер и снег цепко впивался в колени, так же торчали из сугробов былки пустырника, но всё уже было по-другому.

Маня шла вперед, как Армстронг по Луне или Миклухо-Маклай по прибрежному песку страны людоедов. Бесконечный сугроб под ногами, зализанный ветром до бумажной гладкости, становился всё выше, последний свет фонарей уже был настолько слаб, что тени не падали на это ровное полотно, а тут же мутились и растворялись в синюшной каше ветра.

– Показать? – переспросила она и добавила обреченно: – Хорошо, я покажу.

Снег уже поднялся до края высоких зимних сапог, и Маня чувствовала, как к ногам плотно приникает хрустя-

щая ледяная масса, расплющиваясь под кожаным сапожным верхом. Еще немного, и снег начнет таять, и тогда ее ножки, так хорошо упрятанные в теплые штаны, почувствуют прикосновение беспощадной ледяной влаги. Последний свет исчез за спиной. Впереди была скачущая бледными тенями, кишащая снежными всадниками тьма, набитая под завязку утробным воем ветра.

Маня вдруг почувствовала себя как тот самый мяч на вершине холма. «Нельзя этого делать, нельзя!» – истошно орал в ней рвущийся на ветру голос знающего человека. Но мяч уже качнулся, мир уже повернулся к ней другой стороной, и медленно-медленно она сняла с плеча оранжевый обруч. Его идеально правильная окружность возникла на арене вакханалии ветра, как ангел в сердцевине адского огня. Вокруг всё билось, хлестало, выло, трепалось и закручивалось, а этот идеальный апельсин сиял своими оранжевыми боками, как будто и знать не знал про существование бурь, снегов и одиноких путников в пустыне. Обруч был прекрасен.

Маня вдруг увидела себя как будто сверху и сбоку. Маленькая неказистая девочка, держащая перед собой оранжевое кольцо, стоит в середине снежного безумия. Вот она перехватывает руки и медленно берет обруч двумя ладонями в толстых варежках. Обруч так тонок и легок, что ветер не успевает вцепиться в его оранжевую мякоть своими снежными зубами. Обруч не рвется у нее из рук, но послушно меняет наклон и выступает вперед. Маня отпускает вторую ладонь – обруч по-прежнему послушен. Маня перехватывает ладонь в варежке поудобнее и плотно обнимает пальцами тонкую упругую окружность. Обруч готов исполнить всё, что она прикажет. «Это обман, – бьется в Маниной голове, – не делай этого!» Маня легко ставит обруч на снежное полотно, заводит ладонь слегка вперед, следуя линии идеально ровной окружности, и резко отво-

дит руку вниз и назад, одновременно сообщая оранжевому идеалу сильный толчок вперед.

Тут Манины глаза вернулись на положенное им место. Она снова была маленькой, закутанной в шубу и шарф девочкой, и перед ней в клубящемся фиолетовом мраке легко, едва касаясь снежного полотна, катился ослепительно ярко-оранжевый обруч. Он катился медленно-медленно, медленней, чем перекатывался мяч на холме, медленнее, чем любой рапид, чем любая самая медленная медленность. Он катился сквозь безумное мельтешение снежных вихрей, сквозь бледных всадников метели, сквозь мертвые когти пустырника, ужас аравийских ураганов, бездн, божественных комедий, потерянных и обретенных раев, про которые Маня еще не успела прочитать, сквозь ее жизнь и жизнь Гоши, сквозь время, историю, войны, кровь, сквозь всех безвинных и убиенных, сквозь все последние и первые времена, любовь и последнее «прости», сквозь приветливый свет вечерней лампы над столом, недочитанного Майн Рида, маму, бабушку и всё Манино будущее. Обруч катился невероятно долго, но ни Маня, ни Гоша не догадались засечь время, они даже сомневались, что в тот момент оно вообще шло, это время. Обруч всё катился и катился, удаляясь со скоростью один сантиметр в вечность, и, должно быть, прошло много вечностей, прежде чем обруч оказался от них в нескольких метрах.

И тут обруч остановился. Сначала Мане показалось, что этот тонкий оранжевый круг навсегда впечатался в фиолетовое безумие вселенной, но время всё еще шло, а обруч неподвижно стоял под ураганным ветром, легко давая ему проскользнуть в свое пустое, идеально правильное обручное нутро. Обруч стоял, задумчиво покачиваясь из стороны в сторону. И вдруг так же медленно он оторвался от белой земли и стал легко, совершенно невесомо, сохраняя стройную прямизну, подниматься вверх над снежным полотном.

Маня завороженно смотрела, как точный оранжевый росчерк уходит всё выше и выше, как он, как будто осознав свое величие и силу, рвет последние связи с землей и остается один на один с клубящейся обезумевшей тьмой урагана. Пластмассовый апельсин вдруг обнаружил какое-то непластмассовое величие. Он поднимался вверх так, как весной поднимал голову тугой бутон тюльпана, как расцветала сирень, обеспечивая себе мгновенное бессмертие. Он взлетал навстречу буре, покачивая оранжевыми боками, точно ласково посмеиваясь над всеми демоническими ухищрениями адовых кухонь.

Обруч уже поднялся над землей так, что Мане пришлось задрать голову, и теперь она чувствовала, как тает снег, забившийся в узкую щель между горлом и шарфом. Там, на этой высоте, уже не было ни земли, ни земного притяжения. Яростная фиолетовая тьма клубилась, вспучивалась, бесновалась, взвивалась и опадала вокруг оранжевого кольца, хватая его прозрачными когтистыми пальцами, пронзая невидимыми копьями, топча снежными копытами. Но обручу было всё равно. На секунду он завис в клубящемся аду неба, а затем медленно повернулся вокруг своей оси и так же неторопливо полетел вниз, на север, в сторону глухого черного пустыря, замерзшей, неподвижной реки, прибрежных ив, стучащих остекленевшими ветками в ледяном анабиозе. Обруч летел в сторону поля на том берегу реки и бесконечного, тянущегося на многие километры заповедного нетронутого леса. Там, куда улетел обруч, уже не было ни города, ни домов, ни дорог, ни фонарей, ни людей. Там были только тьма, снег, мороз и ужас. Там-то обруч и исчез, медленно растворившись в клубящемся мраке.

***

Когда Маня и Гоша пришли в себя, вокруг их ног успело намести изрядную гору снега. Они смотрели друг на друга потрясенными глазами, не имея даже сил сказать: «Ну ни фига себе». В первый раз в жизни они увидели нечто такое, что было действительно ни фига себе.

– Ты как? – строго спросил Гоша.

– А ты? – не менее строго ответила Маня.

Гоша крякнул в ответ что-то невнятное, но связь была восстановлена. Мир потихоньку начинал возвращать себе свои законные права.

– Меня мама убьет, – механически констатировала Маня.

– М-да, – осторожно выразился Гоша.

Они помолчали. Снег продолжал с равнодушной неотвратимостью засыпать их колени, подбираясь к подолу длинной Маниной шубки. Гошина куртка была покороче. До нее снегу еще было мести и мести, но он старался.

– Мама за этим обручем в Москву ездила. Очередь отстояла, потом тащилась с ним по метро, – продолжала развивать тему Маня, прикидывая, какой скандал сейчас разразится дома.

Гоша, отлично понимавший, что такое дефицит, скорбно молчал.

– Я пойду его искать, – сказала Маня.

– Я с тобой, – прощально глядя на дальние огни улицы, сказал Гоша.

– Спасибо, – сказала Маня и повернулась лицом к бездне.

Бездна вполне соответствовала собственному названию – у массы фиолетового клубящегося снега не было дна. Там вообще не было пространства. Оно было скручено в темно-фиолетовые жгуты и не давало взгляду уйти

вперед дальше, чем на пару метров. Из-под ног тянулось белесое снежное полотно, взвихривающееся правильными спиральными змеями поземки. Маня с трудом вытянула ногу из сугроба и сделала первый шаг. Нога снова утонула по колено. Она вытянула вторую ногу и снова шагнула вперед. Сзади, пыхтя и крякая, шелестел снегом Гоша.

Через пару шагов они поняли, что натоптанная тропинка кончилась – ноги провалились в снег выше колен. Теперь перед ними лежала нетронутая целина, скопившая весь щедрый декабрьский снег. Копиться на этом поле снегу было удобно. Тонкий, но густой частокол мертвого пустырника служил отличным снегозадержателем. Снежные охапки, попавшие в плен пустырниковых зарослей, уже не могли быть ни сдуты, ни затоптаны. Там они лежали с конца ноября, когда снег впервые лег на землю, с каждым снегопадом прирастая новыми слоями.

Вскоре Манино движение превратилось в последовательный набор сложнейших операций. Чтобы сделать шаг, надо было сначала с усилием вытянуть ногу из сугроба, потом как можно дальше пронести ее вперед, стараясь не задеть легкой снежной зыби на поверхности, а потом утопить эту ногу, и края шубы, и саму шубу, и половину Мани в хищной снежной крупе, которая тут же сдавливала всё тело холодными и плотными ладонями.

Она молча производила все эти операции и боялась обернуться. Смотреть на Гошу, который переваливался в снегу сразу за ней, было стыдно до слез. Маня была исполнена мокрой, снежной благодарности и с ужасом понимала, что ничто в мире сейчас не заставит ее проявить благородство и сказать Гоше «Да ладно, иди домой, я сама». А вдруг Гоша послушается и уйдет?

Впереди по-прежнему клубилась безумная снежная тьма. Снег давно забился внутрь сапог и теперь таял там, обеспечивая обоих сначала ледяной мокротой в ногах,

а потом липким объятием тугой намокшей ткани. Снег был в карманах, в варежках, под шубой и подбирался к нижнему белью. Еще через десять метров стало понятно, что передвигаться обычным способом уже невозможно. Чтобы вытянуть ноги из сугробной толщи, нужно было лечь на нежно завивающуюся нетронутую белизну, проползти сколько можно вперед, пока эта злобная белизна еще держала тело на весу, а потом снова утонуть в ней по пояс. Теперь снег был везде – в рукавах, за шиворотом, в шапках, под Маниной шубой и толстой Гошиной курткой. Снег залеплял глаза, набивался в рот, застревал в носу, нагло лез под воротник, и спастись от него было невозможно. Их способ передвижения состоял именно из того, что они должны были утонуть в этом чертовом снегу и плыть в нем, раздвигая руками и ногами густую, хищную снежную плоть.

– Стой, – прохрипел сзади Гоша.

– Чего? – перекрикивая ветряной скрежет, отозвалась Маня.

– Что мы тут как дураки? Давай научно подойдем.

– Как? – проорала Маня.

– Надо установить точно, куда дует ветер, – сообщил Гоша и принялся стаскивать варежку, превратившуюся в одну большую снежную культю.

Стаскивать было неудобно, потому что вторая варежка тоже превратилась в культю, и весь Гоша был похож на снеговика, который решил ожить и навести марафет. Наконец варежка свалилась в снег и чуть не улетела в невидимые дали, подхваченная очередным ветровым порывом. Маня едва успела лечь на варежку грудью. Гоша растопырил закоченевшую голую ладонь и поднял вверх пальцы.

– Ветер дует с юга, – серьезно сказал Гоша и на всякий случай добавил: – Кажется.

Маня тоже стащила с руки варежку и подставила мокрую пятерню ветру. Пальцы сразу охватил ледяной холод.

Установить, с какой стороны он охватывает пальцы больше, а с какой меньше, было совершенно невозможно.

– Ничего не понятно, – сообщил Гоша, – дует со всех сторон.

– Ты помнишь, куда полетел обруч? – крикнула Маня.

– К реке. Точно, – крякнул Гоша.

– А где сейчас река?

– Река-то там, – махнул Гоша на север, – но я не могу понять, точно ли в том направлении мы шли.

Маня вспомнила их змеистые проползания по снежным болотам и поняла, что совершенно не в состоянии сказать, куда они двигались всё это время. Позади них в мутном, едва различимом далеке мерцали уличные фонари.

– У тебя часы есть? – спросила Маня и обессиленно легла на сугроб.

Тело покорно слушалось и даже пока не особенно болело, но Маня чувствовала, что каждая ее ручка-ножка, живот-спина испытывают что-то вроде физического изумления: «Что это такое? Что мы тут делаем? Зачем это?»

– Полдевятого! – крикнул Гоша, наконец добравшийся до часов на левом запястье – больших, красивых часов с серебряными стрелками и крупным циферблатом, которые папа специально для него купил в Париже.

Занятия заканчивались в семь вечера, прикинула Маня. До дома они обычно добирались к половине восьмого. Это значит, что уже сейчас их мамы звонят друг другу и вежливо интересуются, не зашли ли дети в гости. Нет, не зашли, а плавают тут в снегу, испытывают силу дружбы, воспитывают в себе чертово мужество, силу воли и верность принципам.

– Хватит! – заорала Маня решительно. – Всё! Намучались! Пошли домой! А то так и замерзнем здесь к чертовой матери.

– Пошли, – послушно отозвался Гоша.

И они пошли, поплыли, поползли, поскреблись, покатились. Они ввинчивались в снежные стены руками, плечами и всеми своими потихоньку коченеющими телами, раскидывали сугробы впереди и прокладывали в них неровные кривые ходы. Вой ветра стал таким привычным, что на него можно было уже не обращать внимания. Уши забились снегом, и этот дикий вой легко заглушался скрипом тающих в ушных раковинах льдинок. Иногда, сделав несколько бросков вперед, Маня останавливалась, нащупывала под ногами зыбкую снежную опору и варежками счищала с лица и глаз снежную корку, чтобы оглядеться вокруг. Она плохо понимала, куда они идут, где тропинка и далеко ли они от спасительной дороги. Теперь они двигались на восток, и, чтобы попасть домой, им нужно было идти вдоль линии далеких фонарей. Они так и делали, но сколько снежных метров они оставили позади и сколько было еще впереди – этого ни Маня, ни Гоша сказать не могли. Прошло несколько вечностей, прежде чем Маня спросила у Гоши про время.

– Девять, – хрипло ответил Гоша, медленно шевелясь в сугробе.

Маня поплыла дальше. Она уже не поднимала глаз и только пихала, пихала этот непроходимый, тупой, липкий снег, чувствуя себя так, как может чувствовать кусок сливочного масла, утопающий в горячей тарелке манной каши. Только это была не каша, а снег, и он был очень, очень холодным и очень страшным. Маня категорически не хотела думать о плохом. Замерзнуть в полукилометре от дома, на краю современного умного цивилизованного академического города – так не бывает, так просто не может быть. И тем не менее, кидаясь в очередной раз в тугую снежную плоть, Маня должна была честно признаться себе – так могло быть, более того, так уже было.

– Маня, Маня, Ма-а-аня! – заорал Гоша сзади.

Он стоял в снегу почти по самые подмышки и, не успев вытянуть руку из сугроба, головой, грудью, плечами и всеми частями видимого над снегом тела показывал вперед, в густо сиреневый морок уже привычной тьмы. Маня обернулась и вдруг увидела…

Впереди, в гуще мертвого былья, в немоте и царственной неподвижности, слегка склонившись вбок, стоял сияющий в фиолетовой тьме оранжевый обруч. Он был всё так же строен, всё так же идеально точен в линии окружности, всё так же немыслим в своем апельсиновом, ничем не поврежденном блеске. Он стоял так, как будто вокруг него не свистел ураган и небо не обрушивалось на землю снежным потопом. Он стоял совершенно естественно, величественно и просто – как чудо.

Гоша перестал орать, и Маня, едва торчащая над поверхностью сугроба, в молитвенном молчании смотрела на обруч. Ветер как будто осознал величие момента и затих, перестал лезть в уши привычным надрывным воем. Над миром на долгое и сладостное мгновение установилась абсолютная тишина. Божественно тонкая, совершенная окружность неподвижно сияла, как будто нездешняя печать, положенная на синюю, лишенную разума, копошащуюся мглу.

Маня плохо помнила, сколько длилось это мгновение. Внезапно звуки проснулись, и буря снова ударила в уши истерическим визгом ветра. Она пошатнулась и попробовала двинуться вперед, но в этот миг сквозь точно скошенный угловым ракурсом оранжевый овал скользнула тугая струя света и в вой ветра ворвался совершенно иной, родной звук жизни. Мимо Мани всего в нескольких метрах проехала машина.

– Дорога! – заорал сзади Гоша.

Когда они выбрались на твердую землю и слегка поскакали наполовину от радости, наполовину, чтобы стря-

сти липкий назойливый снег, Маня поняла, что сейчас заплачет.

– Я сейчас заплачу, – доверительно сообщила она Гоше.

– Да чего уж теперь, – проворчал Гоша. – В снегу не плакала, когда повод был, а теперь чего…

– Ты же тоже не плакал! – испытывая за Гошу личную гордость, сказала Маня и, перехватив обруч под мышку, хлопнула Гошу по плечу.

С плеча жалобно свалились снежные сугробчики. Гоша не отстал и тоже хлопнул Маню по плечу, вызвав небольшой снежный обвал. Так они и стояли и хлопали друг друга по плечам, пока не рухнули в снег и не захохотали тем совершенно счастливым смехом своего детства, которое скоро должно было кончиться, как и тот смех, и та зима, и та жизнь.

Уже на пороге Маниного подъезда Гоша вдруг остановился в задумчивости и сразу посерьезнел лицом.

– Ты чего? – испугалась Маня и быстро прижала к себе сияющий оранжевый ободок обруча.

– Знаешь, чего я не пойму? – покашливая, сказал Гоша и надолго замолчал.

Маня терпеливо ждала.

– Понимаешь, ветер дул с юга к реке. Обруч туда и полетел – на север, вниз по склону. А мы его нашли точно на востоке. Как он мог там оказаться?

Маня представила в голове розу ветров. Гоша был прав: обруч стоял там, где его быть не могло. Они помолчали, снова похлопали друг друга по плечам и как-то по-взрослому, слегка охрипшим басом сказали хором:

– Ладно, завтра созвонимся.

Когда Маня открыла дверь и вошла в прихожую, она услышала громкий знакомый голос, доносящийся с кухни. Приехал отец. Мама и бабушка что-то пекли и суетились вокруг духовки, весело переругиваясь. Отец сидел на ма-

ленькой, тесной кухне, заняв половину стола и своим громким, резким голосом рассказывал, как у него взяли для публикации первую в его жизни научную статью.

… – Этот дурак Загоскин так и не понял, что я, собственно, предложил, – говорил он, размахивая вилкой, – он, видите ли, утверждает, что выводы не обоснованы. Ну, в журнале-то не дураки сидят. Они-то понимают…

– А, это ты? – рассеянно сказала мама, посмотрев на Маню счастливыми глазами. – А к нам отец приехал.

Но Маня и сама это видела.